

шокъ на полъ, чтобы голова стукнула какъ можно слабѣе...

Страшны здѣсь многочисленныя сцены убийства, и смерти, — напримѣръ, эти „сожженные“ выстрѣлами молодые казаки, Назаровъ, Петраковъ: только что радостно играли въ нихъ силы жизни, и вотъ они уже умираютъ, съ лицомъ, обращеннымъ къ небу, и „всклипываютъ какъ рыбы“ (недаромъ, вѣроятно, не разсказалъ Толстой, что сдѣлалось съ третьимъ казакомъ, Ферапонтовымъ, который былъ „воръ и добычникъ“, продалъ порохъ Гамзало: передъ лицомъ художественной справедливости было бы невозможно, чтобы и Ферапонтовъ, натура измѣнническая, занялъ у читателя такое же вниманіе и сочувствіе, какъ и честные товарищи его, посланные наблюдать за Хаджи-Муратомъ и убитые его „нукерами“). Вотъ Хаджи-Ага, предавшійся русскимъ, отсѣкъ Хаджи-Мурату голову и осторожно, чтобы не запачкать въ кровь чувяки, откатилъ ее ногой.

Это все кошмарно; однако, и сюда, въ безпросвѣтную, казалось бы, тьму войны, вторгаются звуки мира и радости. Поэтически вспоминаетъ Муратъ о своей женѣ, о сынѣ-юношѣ; звучать колоритныя преданія и притчи Востока. Особенно поразительны настойчивые, неумолкающіе соловьи. Они все поютъ, поютъ; и хотя Хаджи-Мурату „стало серьезно на душѣ“ и онъ чувствуетъ, что скоро въ предстоящей стычкѣ сложить онъ свою